

Моя исповедь

Признаюсь вам, государь мой, что я не читаю вашего журнала, а желаю, чтобы вы поместили в нем мое письмо. Для чего? Сам не знаю. Более сорока лет живу на свете и никогда еще не давал себе отчета ни в желаниях, ни в делах своих. Великое слово "так" было всегда моим девизом.

Я намерен говорить о себе: вздумал и пишу - свою исповедь, не думая, приятна ли будет она для читателей. Нынешний век можно назвать веком откровенности в физическом и нравственном смысле: взгляните на милых наших красавиц!.. Некогда люди прятались в темных домах и под щитом высоких заборов. Теперь везде светлые дома и большие окна на улицу: просим смотреть! Мы хотим жить, действовать и мыслить в прозрачном стекле. Ныне люди путешествуют не для того, чтобы узнать и верно описать другие земли, но чтобы иметь случай поговорить о себе; ныне всякий сочинитель романа спешит как можно скорее сообщить свой образ мыслей о важных и неважных предметах. Сверх того, сколько выходит книг под титулом: "Мои опыты", "Тайный журнал моего сердца"! Что за перо, то и за искреннее признание. Как скоро нет в человеке старомодного варварского стыда, то всего легче быть автором исповеди. Тут не надобно ломать головы; надобно только вспомнить проказы свои, и книга готова.

Однако ж не думайте, чтобы я хотел оправдываться примерами; нет, такая мысль оскорбительна для моего самолюбия. Следую только собственному движению и замечаю мимоходом, что оно некоторым образом согласно с общим; но сохрани меня бог казаться рабским подражателем! Для того, в противность всем исповедникам, наперед сказываю, что признания мои не имеют никакой нравственной цели. Пишу - так! Еще и другим отличусь от моих собратий - авторов, а именно краткостью. Они умеют расплодить самое ничто; я самые важные случаи жизни своей опишу на листочке.

Начну уверением, что натура произвела меня совершенно особенным человеком и что судьба все случаи жизни моей запечатлела какою-то отменною печатью. Например, я родился сыном богатого, знатного господина - и вырос шалуном! Делал всякие проказы - и не был сечен! Выучился по-французски - и не знал народного языка своего! Играл десяти лет на театре - и в пятнадцать лет не имел идеи о должностях человека и гражданина.

На шестнадцатом году дали мне изрядный чин и отправили меня в чужие край, не сказав для чего. Правда, что со мною поехал гофмейстер, женевец (прошу заметить, а не француз, потому что в это время французские гувернеры в знатных домах наших выходили уже из моды), которому даны были все нужные наставления. Господин Мендель знал, к чему по большей части готовится знатный молодой человек, а всего более знал свои выгоды - и поступал со мною вследствие своего благоразумного плана. Надобно отдать ему справедливость: он любил искренность и немедленно со мною

объяснился. "Любезный граф! - сказал мне гофмейстер. - Природа и судьба уговорились сделать тебя образцом любезности и счастья; ты прекрасен, умен, богат и знатен; довольно для блестящей роли в свете! Все прочее не стоит труда. Мы едем в Лейпцигский университет; родители твои, следуя обыкновению, желают, чтобы ты украсил разум свой знаниями, и поручили тебя моему смотрению; будь спокоен! Я родился в республике и ненавижу тиранство! Надеюсь только, что моя снисходительность заслужит со временем твою признательность". Я обнял его и обещал ему такую пенсию, какая не всегда дается и министру за долголетнюю службу.

Приехав в Лейпциг, мы спешили познакомиться со всеми славными профессорами - и нимфами. Гофмейстер мой имел великое уважение к первым и маленькую слабость к последним. Я взял его себе за образец - и мы одним давали обеды, другим - ужины. Часы лекций казались мне минутою, оттого что я любил дремать под кафедрою докторов, и не мог их наслушаться, оттого что никогда не слушал. Между тем господин Мендель всякую неделю уведомлял моих родителей о великих успехах дражайшего сына их и целые страницы наполнял именами наук, которым меня учили.

Наконец, прожив три года в Лейпциге, мы отправились путешествовать, наняв секретаря для описания любопытных предметов, ибо господин Мендель был ленив. Родители мои из каждого города получали от нас толстые пакеты, не могли нарадоваться умными замечаниями своего сына и с гордостью читали их нашим родственникам. Я не виноват был ни в одной строке, уполномочив секретаря своего философствовать вместо меня (к счастью, рука его совершенно на мою походила), но к некоторым его описаниям прибавлял от себя выразительные карикатуры - произведение единственного таланта, данного мне натурою!

Однако ж я наделал много шума в своем путешествии - тем, что, прыгая в контрдансах с важными дамами немецких княжеских дворов, нарочно ронял их на землю самым неблагопристойным образом, а всего более тем, что, с добрыми католиками целуя туфель папы, укусил ему ногу и заставил бедного старика закричать изо всей силы. Эта шутка не прошла мне даром, и я высидел несколько дней в крепости св. Ангела. Обыкновенная же забава моя дорогою была - стрелять бумажными шариками из духового пистолета в спину постиллионам!

В Париже я вошел в связь со многими из славных ветреников и нашел способ удивить их как смело своею философиєю, так и всеми тонкостями языка повес, всеми его техническими выражениями, заимствованными мною по большей части от господина Менделя, который служил некогда домашним секретарем герцога Ришельё. Будучи введен в некоторые хорошие дома, я имел случай узнать и славнейших французских остроумцев; слышал однажды чтение Лагарповой "Мелании", хвалил без памяти талант автора и после сведал, что он в письме своем к одному знатному человеку в П * (без сомнения, из благодарности) описывал меня редким молодым человеком, рожденным для чести и славы отечества. Я имел счастье быть представлен герцогу Орлеанскому, ужинать с его избранными друзьями и разделять забавы их, достойные кисти нового Петрония.

Надобно было видеть Англию; подобно Альцибиаду, я стал другим человеком в другой земле и пил так усердно с британцами, что через месяц слег в постель. Пользуясь временем моего выздоровления, я сделал карикатуры на всю королевскую фамилию - и лондонские журналы говорили об них с великою похвалою.

Возвращение сил моих было горестно для господина Менделя: мне вздумалось столкнуть его с лестницы за то, что ему вздумалось приласкаться к моей Дженни. Нежная англичанка упала в обморок, между тем как мой гофмейстер считал головою ступени. Однако ж уверяю читателя, что сердце мое совсем неспособно к ревности: это минутное движение было, конечно, следствием моей болезни. Господин Мендель расстался со мною. Мы оба уведомили моих родителей о нашем разрыве; он называл меня шалуном, а я описывал его недостойным имени гофмейстера. И то и другое могло быть справедливо, но матушка одному мне поверила, а батюшка согласился с нею.

Наконец я возвратился в отечество, где лавры и мирты ожидали меня. В голове моей не было никакой ясной идеи, а в сердце - никакого сильного чувства, кроме скуки. Весь свет казался мне беспорядочною игрою китайских теней, все правила - уздою слабых умов, все должности - несносным принуждением. Ласки родителей не сделали в холодной душе моей никакого впечатления; но, зная выгоды человека, образованного в чужих землях, я спешил поразить умы соотечественников разными странностями и с удовольствием видел себя истинным законодателем столицы. Мореплаватель во время бури не смотрит с таким вниманием на магнитную стрелку, с каким молодые люди на меня смотрели, чтобы во всем соображаться со мною. Я везде, как в зеркале, видел себя с ног до головы: все мои движения были срисованы и повторены с величайшею верностию. Это забавляло меня до крайности. Но главным моим предметом были женщины, которых лестное внимание открывало мне обширное поле деятельности. Здесь не могу удержаться от некоторых философических рассуждений. Влюбленность - извините новое слово: оно выражает вещь - влюбленность, говорю, есть самое благодетельное изобретение для света, который без нее походил бы на монастырь Латрапский. Но с нею молодые люди наипрекраснейшим образом занимают пустоту жизни. Открывая глаза, знаешь, о чем думать; являясь в обществах, знаешь, кого искать глазами; все имеет цель свою. Правда, что мужья иногда досадуют; что жены иногда дурачатся от ревности; но мы заняты, - а это главное! С одной стороны, искусство нравиться, с другой - искусство притворяться и самого себя обманывать не дают засыпать сердцу. Часто выходит беспорядок в семействах, но он имеет свою приятность. Сцены обморока, отчаяния для знатоков живописны. *Sauve qui peut* {Спасайся кто может! (франц.). - Ред.}, всякий о себе думай - и довольно!

Будучи модным прелестником, я имел счастье поссорить многих коротких приятельниц между собою и развести не одну жену с мужем. Всякая соблазнительная история более и более прославляла меня. О характере моем говорили ужасы: это самое возбуждало любопытство, которое действует весьма живо и сильно в женском сердце. Система моя в любви была самая надежная; я тиранил женщин то холодною, то

ревностию; являлся не прежде десяти часов вечера на любовное дежурство, садился на оттомане, зевал, пил гофмановы капли или начинал хвалить другую женщину; тайная досада, упреки, слезы веселили меня недель шесть, иногда гораздо долее; наконец следовал разрыв связи - и новый миртовый венок падал мне на голову. Справедливость требует от меня признания, что не все красавицы были моими Дидонами; нет, одна из них, вышедши из терпения, осмелилась указать мне двери. Я был в отчаянии - и на другой день представил ее в живой карикатуре: заставил всех смеяться и сам утешился.

Вдруг пришло мне на мысль жениться, не столько в угождение матери (отца моего уже не было на свете), сколько для того, чтобы завести у себя в доме благородный спектакль, который мог служить для меня приятным рассеянием среди трудных обязанностей модного человека. Я выбрал прекрасную небогатую девушку (хорошо воспитанную в одном знатном доме), надеясь, что она из благодарности оставит меня в покое, и в сих мыслях обещался на другой день ужинать, по обыкновению, с глазу на глаз с резвою Алиною, которая тогда занимала меня своею любезностию. Вышло напротив. Эмилия из благодарности считала за долг быть нежною, страстною женою, а нежность и страсть всегда ревнивы. Философия моя заставляла ее плакать, рваться: я вооружился терпением, смотрел, слушал равнодушно; играл ее шалью - и зевал, воображая, что бури непродолжительны, особливо женские. В самом деле, Эмилия мало-помалу приходила в рассудок, утихала и становилась гораздо милее; томные взоры ее развеселялись, и легкие упреки произносились уже вполголоса, даже с улыбкою. Наконец я совершенно уверился в исправлении жены моей, видя вокруг ее толпу искателей. Дом наш сделался оттого гораздо приятнее: Эмилия перестала грубить молодым женщинам и всячески старалась заслужить имя любезной хозяйки. Мы набрали к себе в дом итальянских кастратов, играли оперы, комедии, давали маленькие балы, большие ужины, - подписывали счета, но никогда не считали, - занимали деньги и никогда не имели их, - одним словом, жили прекрасно!

Одна мать моя, у которой от старости испортился нрав, была недовольна и часто упрекала меня ветреною безрассудностию; говорила, что мы разоряемся; говорила даже, что Эмилия дурно ведет себя! Но я - зевал и, как должно хорошему сыну, советовал ей беречь свое здоровье, то есть не сердиться. Она не хотела послушаться, и прежде времени отправилась на тот свет. Бедная! Мы пожалели об ней - тем искреннее, что ее смерть на несколько месяцев расстроила наши спектакли.

Скоро в хозяйстве нашем открылись маленькие неприятности: иногда накануне большого ужина дворецкий сказывал мне, что у него нет ни рубля на расход и что он нигде не мог занять денег. В таком случае я обыкновенно выгонял его из комнаты - и ужин бывал прекрасный. Являлись добрые люди с товарами: одни продавали мне на вексель, другие в ту же минуту покупали у меня на чистые деньги, и дело было с концом. Но время от времени встречалось более трудностей, и часто за вексель в тысячу рублей давали мне только дюжин шесть помады! Уведомляю читателя, что искусные люди, которых профаны называют ростовщиками, знают наизусть все нужды и все

коммерческие способы богатых мотов; взяв карандаш в руку, они в минуту исчисляють, во сколько лет, месяцев, дней и часов такой-то останется без души христианской; по сему верному расчету служат ближнему деятельно, усердно и редко обманываются. Наши отечественные лихоимцы прежде всех других оставляют человека на славном и широком пути разорения, подобно меланхолическим докторам, которые слишком рано осуждают больных на смерть; они отдают его на руки иностранным ростовщикам: немцы уступают место французам, французы - италиянцам, италиянцы - грекам; в эту последнюю эпоху рубль мота ходит уже в копейке. Я спокойно прошел сквозь всю жидовскую фалангу и стоял уже на последней ступени. Имение мое записывали, продавали с публичного торгу, но я все еще не унывал и в самый тот день, как меня выгнали из дому, думал играть главную роль в комедии "Беспечного". Жестокие заимодавцы не хотели видеть спектакля - и мне надлежало искать убежища в доме одного моего родственника.

Если читатель удивится, что семь или восемь тысяч душ моих так скоро исчезли с дымом, то он, без сомнения, не знает умножительной силы долгов, считаемых не должником, а заимодавцами; вексели, как полипы, чудесным образом плодятся, если завеса беспечности скрывает следствия от глаз рассудка. К тому же всякий почтенный мот находит верных сотрудников в своих управителях и дворецких, которые всячески облегчают бремя господского имения, приметив, что оно угнетает господина. - Я назвал мота почтенным и спешу оправдаться. Он есть благодетель отечества и народа, разделяя с обществом свое богатство. Собиратель подобен жадной реке, которая течет в прямой линии, глотает ручейки и потоки, влажит только берега свои и сушит окрестности, но расточителя можно сравнить с рекою щедрою, которая делится на тысячу рукавов, сообщает влагу свою великому пространству и, мало-помалу исчезая, делается жертвою благотворительности.

Кому угодно, тот может вообразить меня спокойно и даже гордо идущего по улице; два человека несли за мною две корзины, наполненные любовными женскими письмами: единственное сокровище, которое заимодавцы позволили мне вынести из дому! Родственник принял меня холодно и с упреком. Эмилия приехала к нему вслед за мною и, забыв, что мы вместе проживали имение, осыпала меня жестокими укоризнами, объявила торжественно, что союз наш разрывается, села в карету и скрылась. Я летел к женщине, которая за день перед тем уверяла меня в любви своей, - меня не приняли, летел ко многочисленным друзьям моим - одних не было дома, другие вздумали читать мне наизусть книжные наставления, как должно быть умеренным и благоразумным в жизни! Им надлежало бы говорить о том, когда я угощал их. - В прибавок во всему меня выгнали из службы, как распутного человека.

Такие случаи и неприятности могли бы огорчить другого, но я родился философом - сносил все равнодушно и твердил любимое слово свое: "Китайские тени! Китайские тени!" Всего хуже было то, что заимодавцы, недовольные остатками моего имения, грозились посадить меня в тюрьму. Признаюсь, что мысль о темной конурке пугала и самую мою философию.

Месяца через два приехал ко мне один богатый князь с требованием, чтобы я подписал некоторую бумагу, и с обещанием удовлетворить моих кредиторов; то есть мне надлежало взвести на себя небылицу, которая давала Эмилии право избрать другого мужа. Я сперва захохотал, а после задумался, воображая, с одной стороны, ужасы темницы, а с другой - злые насмешки людей. Между тем князь говорил о своей благодарности, признался, что он намерен жениться на Эмилии, желая спасти ее от бедствий нищеты, предлагал мне свою дружбу, уверял, что дом его будет моим домом, даже звал меня жить к себе. Тут счастливая мысль пришла мне в голову: я подписал бумагу.

Эмилия красноречивым письмом изъявила мне свою признательность (она вышла за князя, который немедленно выкупил мои вексели) и в заключение говорила: "Мы не умели быть счастливыми супругами: будем по крайней мере нежными друзьями! Муж мой клянется любить вас как брата". - Я спешил уверить ее в своей чувствительности - и с того времени поселился у князя, обедал, ужинал с Эмилией, казался томным, печальным и, оставаясь наедине с нею, говорил со слезами о прежней своей безрассудности, о моем сердечном раскаянии, о потерянном навеки счастье, то есть имени супруга любезнейшей женщины в свете. Сперва она шутила, но мало-помалу начала слушать меня с важным видом и задумываться. Надобно знать, что князь был человек пожилой и весьма неприятный наружностью. Часто глаза ее тихонько сравнивали нас и с выражением горести потуплялись в землю. Эмилия некогда любила меня; перестав быть ее мужем, я казался ей тем любезнее. Боясь света, который громко осуждал ее второе замужство, она вела уединенную жизнь; уединение же, как известно, питает страсти. Женщина, самая романическая, в некоторых обстоятельствах может прельститься богатством, но богатство теряет для нее всю свою цену при первом движении сердца. Не хочу томить читателя долгим приуготовлением. План мой счастливо исполнился. Мы изъяснились. Эмилия отдалась мне со всеми знаками живейшей страсти, а я через минуту едва мог удержаться от смеха, воображая странность победы своей и новость такой связи. - Старый муж отметил новому, но мне еще не довольно было восторгов Эмилии, тайных свиданий, нежных писем: я хотел громкой славы! Я предложил своей жене-любовнице уйти со мною. Она испугалась - описывала наше положение самым счастливым (ибо князь стыдился ревновать ко мне) - предвидела ужас света, если мы отважимся на такой неслыханный пример разврата, - и заклинала меня со слезами сжалиться над ее судьбою. Но женщина, которая преступила уже многие (по словам моралистов) должности, не может ни в чем отвечать за себя. Я хотел непременно, требовал, грозил (помнится) застрелить себя - и через несколько дней мы очутились на Мо-ской дороге.

Торжество мое было совершенно; я живо представлял себе изумление бедного князя и всех честных людей; сравнивал себя с романическими ловеласами и ставил их под ногами своими: они увозили любовниц, а я увез бывшую жену мою от второго мужа! Эмилия грустила, но утешилась мыслью, что она следует движению непобедимого чувства и что любовь ее

ко мне есть героическая, - утешение, к которому обыкновенно прибегают женщины в заблуждениях страсти или воображения!

В М-е знатные мои родственники не хотели пустить меня в дом, а набожные тетки и бабушки, встречаясь со мною на улице, крестились от ужаса. Зато некоторые молодые люди удивлялись смелости моего дела и признавали меня своим героем. Я покоился на лаврах, не боясь никаких следствий: ибо добрый князь, заключив горесть в сердце, не жаловался никому и говорил своим знакомым, что он сам отправил жену в М-у для экономии. Эмилия продала свои бриллианты, и мы жили недурно; но она жаловалась иногда на мое равнодушие и, наконец, узнав, что я вошел в связь с одною известною ветреницею, слегла в постелю, сказала мне, что, быв женою, она могла сносить мои неверности, но, сделавшись любовницею, умирает от них. Эмилия сдержала слово - и при смерти своей говорила мне такие вещи, от которых волосы мои стали бы дыбом, если бы, к несчастью, была во мно хотя искра совести; но я слушал холодно и заснул спокойно; только в ту ночь видел страшный сон, который, без сомнения, не сбудется в здешнем свете.

Не хочу говорить о дальнейших моих любовных приключениях, которые не имели в себе никакого особенного блеска, хотя мне удалось еще разорить двух или трех женщин (правда, немолодых). Видя наконец, что лета и невоздержность кладут на лицо мое угрюмую печать свою, я решился взять другие меры, сделайся ростовщиком и, сверх того, забавником, шутком, поверенным мужей и жен в их маленьких слабостях. Мудрено ли, что мне снова отворен вход во многие именитые дома? Такие люди нужны на всякий случай. Одним словом, я доволен своим положением и, видя во всем действие необходимой судьбы, ни одной минуты в жизни моей не омрачил горестным раскаянием. Если бы я мог возвратить прошедшее, то думаю, что повторил бы снова все дела свои: захотел бы опять укубить ногу папе, распутствовать в Париже, пить в Лондоне, играть любовные комедии на театре и в свете, промотать имение и увезти жену свою от второго мужа. Правда, что некоторые люди смотрят на меня с презрением и говорят, что я остыдил род свой, что знатная фамилия есть обязанность быть полезным человеком в государстве и добродетельным гражданином в отечестве. Но поверю ли им, видя, с другой стороны, как многие из наших любезных соотечественников стараются подражать мне, живут без цели, женятся без любви, разводятся для забавы и разоряются для ужинов! Нет, нет! Я совершил свое предопределение и, подобно страннику, который, стоя на высоте, с удовольствием обнимает взором пройденные им места, радостно вспоминаю, что было со мною, и говорю себе: так я жил!

1802

Граф NN